

РОМАН Фридриха Горенштейна «Псалом» («Октябрь», № № 10, 11, 12, 1991 и 1, 2, 1992) одновременно отталкивал и захватывал. У меня другое отношение к любви, к Богу, к Достоевскому, к России. Я еврей, но не из колена Данова. Точка зрения автора кажется мне иногда прямо кощунственной. И в то же время я захвачен. Не соглашусь — и не могу оторваться. Долго не мог этого понять и вдруг понял: Горенштейн принимает за всю полноту реальности пласт жизни, на который я не любил глядеть в упор, а смотрел с птичьего полета, с некоторой высоты, на которой царит Дева, Смывающая Обиды. А он целиком в царстве Девы-Обиды. Бог присутствует в этом мире голосом своих пророков, присутствует как гнев и казнь. Это царство Божьего гнева на человека, не способного разглядеть, расслышать Деву, Смывающую Обиды. Горенштейн (как, впрочем, и многие другие) не верит в благую весть о Новом Адаме. Но библейские голоса, которые он слышит, настойчиво говорят: покайтесь, ибо грядет Господь... Ибо время близко... Говорят — против воли автора, который убежден, что вечно человек будет зачинать человека в похоти и сраме, вечно ненависть будет рождать ненависть и вечно будут сыпаться на человечество молнии казней господних.

Как-то лет 30 назад я встретил пьяного. Он посмотрел на меня с укоризной и сказал: вся Европа вас уничтожала... С упором на слово «Европа». И с искренним нравственным негодованием. Вся Европа — а я не подохо. Не хорошо. Это было замечательно в нескольких отношениях. Во-первых, такое неожиданное западничество. Во-вторых, что именно с Запада усвоено. В-третьих, уверенность в моральной правоте своего выбора. Почти как у толстовских героев: мне главное чувствовать, что я по правде живу. Наконец, в-четвертых, мне представлялась возможность заглянуть в духовный мир забегаловки, еще один кружок из многих кружков, сложившихся в 60-е и 70-е годы и сегодня дружно закричавших, каждый свое и не слушая друг друга. Впечатление несколько болезненное, но в то же время смешное. Слишком пошло, чтобы принимать всерьез. Одно из тех явлений, которые целиком коренятся во времени и смыкаются временем, не затрагивая более глубоких пластов. Даже в самый перелом, болезненный миг встречи не было у меня желания, чтобы этот алкаш тут же упал и насмерть расшибся. Это было бы не по чину. Пошлость погубит комически, обличает свое ничтожество и казнится смешком. Физическая (а не только моральная) смерть была бы нарушением законов искусства. Горенштейн их нарушает. Он принимает алкаша всерьез и обрывается на него с библейскими проклятиями. И в этом есть какая-то правда. Правда Божьего гнева, для которого нет покаяния, а есть грешники; и каждый грешник достоин внимания. Такого, как у Дана из колена Данова, антихриста, способного только проклясть? Или такого, как у Иисуса?

На это в рамках текста невозможно ответить, потому что Иисуса Горенштейн не чувствует. Разбираться в том, что он пишет о Христе, об апостолах, о Новом завете, сменившем Ветхий, так же неинтересно, как читать «Русофобию» Шафаревича. Общая глухота к мировому духу, вырвавшегося из рамок рода, народа, племени, этноса, — к духу, избравшему своим жилищем личность. То же непонимание нового народа, клубка духовных движений, возникающих вокруг сильно развитой личности и втягивающих в свое поле то эллина, то иудея, то римлянина, то варяга... Те же искусственные конструкции, созданные из отдельных кусков живого целого — как Иванушка, изрубленный и спеченный заново (голова к задку) в печи Бабы Яги.

И не в том дело, что противопоставление исторического Иисуса Иисусу церковному в принципе недопустимо. Оно есть у Халила Джиграна в притче о встрече Иисуса из Назарета с Иисусом Христом в горах Ливана. На меня эта притча произвела огромное впечатление. Но у Джиграна — в нескольких словах — есть и живой Иисус, и икона. А у Горенштейна — ни того, ни другого. Заговорив об Иисусе, он сразу теряет весь свой ум и талант. Для Дана из колена Данова Иисус — инопланетянин, и невозможно благословить проклинающих вас. Но как беспомощны его собственные проклятия! Одного алкогилика убил, другого — разбил паралич... Ну, еще несколько солдат из гитлеровского вермахта померли от колита в животе... Как это ничтожно, сравнительно с размахом зла! И как мощно звучит другой ответ, какого-то безвестного еврея, задуманного и сожженного в Дахау: «Да перестанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников...»

Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против мучителей твоим обвинением, чтобы возыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе...

(посланное ей Даном) не исполнилось. Германия покаялась, как Ниневия, и Бог дал немцам возможность стать другим народом. И сегодня дай Бог нам эту силу покаяния!.. И эту выдержку в труде, после распада тысячелетнего царства...

ГОВОРЯТ, что «Мастер и Маргарита» — Евангелие от Воланда. Что-то подобное можно сказать о «Псалме». Это мир, увиденный жгучим, беспощадно жестким взглядом; мир, в котором небо — только источник молний. Вспоминаешь Босха...

И все же есть в этом мире и рвущая сердце жалость (к несчастным девочкам), и человечность в самих проклятиях. Есть отношение к существам, мимо которых я проходил, не оглядываясь, — как к людям, достойным по крайней мере Божьего гнева. И это присутствие Бога через проклятия — все же Божье присутствие.

ЕСЛИ БЫ только Горенштейн понимал границы своего дара и не казался того, чего не понимает! К сожалению, он очень часто идет по пути Фрейда и пытается объяснить с точки зрения преисподних страстей всю человеческую культуру. Особенно раздражает его Достоевский — кажется, попыткой доказать, что идеал Мадонны не меньше захватывает человека, чем идеал Содомский. Как только мелькает у Достоевского идеал Мадонны, так Горенштейн раздражается, торопится доказать, что про Мадонну — все фальшь, а есть только Содом, Содом и Содом, Содом в квадрате и Содом в кубе (что отчасти верно: у Достоевского все в квадрате и в кубе, и если не видеть, не чувствовать Сони, Хромоножки, Мышкина, Алеши, то этот квадрат и куб содомского, ничем не уравновешенный, делает чтение Достоевского «сверлением здорового зуба», по выражению Чехова). Даже ребенку Горенштейн отказы-

чем к истине, тяготения его героев к Христу, исповедей Ивана — Алеши, Раскольникова — Соне. Никто не чувствует обаяния героев Достоевского, открытых Христу. Никто не понимает, что роман Достоевского — своего рода исповедь грешников (через иконописца Христа — Сону, Мышкина, Алешу).

Реальны для участников спора только те герои, которые клонятся к подполью, и в той мере, в которой они клонятся к подполью. При повороте пьесы вглубь, к опыту вечности, восприятие утрачивается и целое рассыпается на части. Статисты повторяют общие места; к ним никто не прислушивается. А мыслящие участники спора воспринимают только нижний уровень мира Достоевского, уровень непроявленных страстей. Для Чернокотова это национальная озлобленность, переключющаяся с языческой религиозностью. В Эдемском и Жуовьяне я чувствую только упоение интеллекта созданной им концепцией — неч-

т. п. И — обращаясь к Достоевскому — видит в нем то, что подтверждают их взгляды. Впрочем, Бердяев верно чувствует любовную страсть, по крайней мере одного героя Достоевского — Версизола. У Горенштейна и этого нет. Он видит у Достоевского только банальное. Его Достоевский — это Достоевский «двойных мыслей» без порыва, к которому двойные мысли примазываются.

Тема Достоевского в «Псалме» органически связана с темой России. Роман запечатлел «двойные мысли» русского духа — похоти плоти, похоти власти и похоти ненависти к чужому. Все это действительно кошится в люмпенизированной народной массе, где догнивают остатки прежнего патриархального народа. В частности все верно. Это та самая народная масса, которая поджигает хозяйства фермеров и против которой фермеры потребовали выдать им автоматы. Проклятия Дана из колена Данова — те же автоматные очереди.

НО Я НЕ МОГУ просто закрыть роман. Мне хочется возразить: это правда на уровне помраченного сознания, для которого отдельные народы — как отдельные предметы: яблоки в одну сторону, вишни в другую. А на самом деле это не предметы, а ипостаси единого духа. Это ипостаси моего собственного духа. Не считите за высокопарный слог: термин «ипостась» может быть применен при анализе любой личности — божественной и отдельной человеческой, национальной и всемирной. Византийские богословы решали вопрос о совмещении двух подходов к тайне Бога, двух соборных личностей, двух разных культур, эллинской и иудейской, и создали мощный интеллектуальный аппарат, совершенно готовый для решения современных проблем.

Жестко отличались друг от друга племена, этносы. Но век племен, век этносов кончается. Наступил век личностей, выбитых историей из племенных ниш и нашедших опору в самих себе. Нет больше патриархальных народов, хранителей канонов, форм, которые надо только заполнить собой — из поколения в поколение, от отца к сыну. Есть сильно развитая личность — и след, который она оставляет, клубок духовных движений, вызванных личностью (Пушкиным, Достоевским, Толстым). Меня не смущает, что старого народа практически нет. Новый народ — это наши слушатели, наши читатели. Это непредубежденные читатели, которые сумеют вступить в диалог с текстом и найти в нем толчок к своему собственному росту, по законам своего собственного развития. Воспринимая ту правду, которую высказал «Псалом», и поднимаясь сквозь нее к высшей правде.

Впрочем, слово «непредубежденные», пожалуй, неточно. Вернее — счастливые читатели. Из того «счастливого меньшинства» (Стендаль), которому некогда ненавидеть, которое отбрасывает ненависть и похоть: они мешают любви.

Григорий ПОМЕРАНЦ

Псалом антихристу

О романе Фридриха Горенштейна, и не только о нем

Больше того. Горенштейн в «Псалме» самого себя ставит рядом со своими персонажами и на самого себя призывает Божий гнев. Ибо одна из казней господних падает на Дана из колена Данова — проклятие похоти. Он любит, он чувствует сердцем сердце девушки только до тех пор, пока не заговорила похоть:

«И началась у Антихриста с Тасей любовь постоянная. Конечно, не Божья это была любовь, как брат любит сестру или отец любит дочь, но и не людская, как мужчина любит женщину. Однако, поскольку Антихрист не мог любить иначе, а Тася вообще любила впервые, то они подобной любви не удивлялись. Встречались все там же, у поросшего лесом начала оврага, возле ручья... Увидит Тася Дана, сделает к нему навстречу несколько шагов, словно лунатик в полнолуние, уж на последнем шаге силы оставляют, колени подгибаются, еще шаг — и упала бы без чувств, но Антихрист никогда не давал ей сделать этот последний шаг, который, может, был бы во спасение; всегда, ослабнув, падала Тася не на землю, а на грудь его и без поцелуев, без слов стояли они. Всякий раз одинаково была их встреча, ибо только мелкой любовью нужно разнообразие. Все сполна получала Тася от обаяний Антихриста, а ее девичья чистота и нежность помогали Антихристу избежать казни Господней — похоти, которой он был подвержен подобно всему земному. Так в лесу, вблизи города Бора Горькозской области, осуществилась вековая мечта о чьей-то третьем, не телесном и не аскетическом...»

Судя по всем текстам Горенштейна, с которыми я знаком, ему никогда не приходило в голову, что мужчина может владеть своим половым порывом, как флейтист — своим дыханием, и «любовь в плотную» (термин Цветаевой) становится тогда музыкой прикосновения. Более того, на волне этой музыки мужчина и женщина, охваченные любовью до желания друг через друга выражаться в вечность, могут действительно вырваться из пространства и времени, пережить внутренний свет, в котором плавятся предметы и становятся ощутимым Целое Вселенной. Что-то близкое к этому описано у Хемингуэя (в «Колоколе»), у Набокова... А в поэзии Индии это канон, неоднократно повторенный великими поэтами.

К сожалению, многие этого не понимали и уверяли, что такого нет и быть не может. Из убеждения, что близость мужчины и женщины необходимо порочна, вырос миф о непорочном зачатии. То есть не просто непорочном, а неестественном. Я согласен с Пастернаком, что нормальный половой акт может быть совершенно непорочным, совершенно пронизанным сердечным чувством, с начала и до конца, — но средний человек настолько в это не верит, что даже с Божьей помощью не может помыслить такое обыкновенное чудо и заставляет Бога действовать необыкновенно и неестественно... Однако вернемся к литературе. И у Толстого (в «Крейцеровой сонате»), и у Солженицына (всюду), как только из нежности рождается половой порыв — сердца больше нет, нежности больше нет и нет любви, только мощные инстинкты самца и самки.

Глаза, потупленные ниц...
И сивоз опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огонь желанья.

Солженицын принимает такое гадение в грубую чувственность как естественный ход жизни. Толстой с отвращением отказывается подчиниться инстинкту и обрекает человечество на бесплодие и смерть. Горенштейн покоряется мощи либидо — и обрушивает на него гнев библейских пророков. Это столкновение Фрейда с Библией полно своеобразного драматизма. По-своему оно даже поэтично. Во всяком случае, горенштейновский проклятый секс все-таки поэтичнее, чем эротические сцены в «Крейцеровой сонате» и у Солженицына (сила которого совсем не в этих сценах).

вает в искренности раскаяния. Но у плебейского раздражения, как у лжи, короткие ноги. Отвращение к Достоевскому, нежелание перечитать «Братьев Карамазовых», проверить себя сказало в путанице имен: Илюша с Колей (ср. «Последнее лето на Волге»).

Отдельные наскоки на Достоевского, рассыпанные в романе, вряд ли стоит разбирать. Концепция систематически изложена в пьесе Горенштейна «Спор о Достоевском» («Театр», № 2, 1990). Действительного спора там нет, есть только видимость спора. Сталкиваются разные оттенки непонимания того, чем жил Достоевский и вокруг чего строится действие его романов. Эдемский и его друг Жуовьян просто пересказывают идеи автора. В конце пьесы действие вообще исчезает. Текст Горенштейна разбирается на куски и читается по очереди. Создается впечатление, что единственная альтернатива двум друзьям — Чернокотов. Но на вопрос, верует ли он в Бога, Чернокотов мог бы ответить, как Шатов: «Я... буду верить в Бога». Его Бог — синтетическая личность народа, России. В лучшем случае это языческий, племенной бог. Христа, который пришел разлучить отца с сыном, не верует в пьесе никто. И никто не понимает любви Достоевского к Христу больше,

то вроде захваченности. Раскольникова своей теорией. По отношению к тому представлению о Достоевском, которое выстроилось у них в голове, они правы. Но их правда не имеет отношения к подлинному Достоевскому. Достаточно сказать, что «Преступление и наказание» признается правдивым только, до убийства Алены Ивановны и Лизаветы, то есть как преступление без покаяния, банальный эпизод уголовной хроники.

Горенштейн дважды ссылается на Бердяева, и скрытую ссылку на Бердяева можно увидеть еще в нескольких местах. Ссылки эти вполне корректны. Концепция Горенштейна действительно опирается на Бердяева, на его философию любви. Эта философия сообщает трагический опыт тонких, одухотворенных мужчин, оказавшихся беспомощными перед волной похоти. Ожидавших «уда и потрясенных тем, что куда не вышло, что взрыв полового инстинкта отбросил их до уровня животного. Как факт это переживание бесспорно: оно лучше всего описано в стихотворении Рильке «Одиночество». Но потом один находит вину в себе и преодолевает свою беспомощность, а другие (Шопенгауэр, Вейнингер, Толстой, Бердяев) строят ложные концепции, в которых вина ложится на совершенство природы, на женщину и